

С неба падал не то снег с дождем, не то дождь со снегом, в дырявых туфлях хлюпала противная, холодная влажность, шинель набрякла, стала сырой и тяжелой, но меня согревала великая цель — я шел не к кому-нибудь, а к самому главному еврею Советского Союза СОЛОМОНУ МИХАЙЛОВИЧУ МИХОЭЛСУ.

Мне предстояло обсудить с ним вопрос чрезвычайной, как мне по молодости казалось, глобальной важности, ну, просто вопрос космических масштабов.

Так представлял себе я, но на самом деле все обстояло значительно скромнее.

История такая. Актерская студия при театре имени Моссовета приступила к постановке учебного спектакля «Как закалялась сталь» по книге Николая Островского.

Инсценировку написал наш студиец, а при распределении ролей мне была поручена малосенькая и меообразительная роль старого еврея, парикмахера Зельцера.

Досталась мне эта работа по нескольким причинам. Ну, во-первых, кроме меня, в нашей студии не было ни одного еврея; во-вторых, я считался самым старым среди одноклассников, им все-таки от силы восемнадцать-девятнадцать, а мне аж двадцать пять лет, прошел фронт, изрядно повидал; в-третьих, немного хромал после ранения; в-четвертых, как выяснилось к этому времени, Бог не одарил меня актерским талантом, наши преподаватели боялись рисковать, выпускающая меня на сцену, и поэтому весь мой текст уместился на четвертушке странички из школьной тетради.

В утешение педагоги деликатно напомнили мне классические слова Константина Сергеевича Станиславского о том, что нет «маленьких» ролей, а есть «маленькие» актеры.

Но хотя мне и предстояло произнести на учебной сцене всего несколько слов, мною овладело желание, даже в них выразить всю исключительность и величие еврейского Народа со времен Моисея до наших дней. Помочь мне в этом, по моему твердому убеждению, способен был только Михоэлс — он один!

И вот, недолго думая, я отправился прямою на Малую Бронную в Еврейский театр. Знаком я с Михоэлсом не был, и только еще школьником, до войны видел всего один спектакль — «Король Лир» в его постановке и с его участием.

Мне кажется, пол-зала тогдашних зрителей не понимала по-еврейски, но у всех сложилось полное ощущение, что нам понятно каждое слово, так выразительна была постановка, так ярко и живо вели себя на сцене актеры.

И, конечно — Михоэлс! Казалось, от него со сцены в зрительный зал льется какой-то необъяснимый поток могучей, доброй и светлой силы. Безусловно, так оно и было. Соломон Михайлович, по-моему, обладал исключительной способностью аккумулировать в себе то, о чем сейчас только начинают у нас говорить — биоэнергетика, энергия космоса и так далее.

В конце спектакля король Лир плачет.

Мне врезался в память один жест великого Артиста, который буквально потряс всех зрителей. Он прост и выразителен — Михоэлс лишь прикасается к своим щекам руками, а потом с детским удивлением разглядывает собственные пальцы, увлажненные слезами. Король не верит, что способен плакать.

В это мгновение, каждому в большом зрительном зале, даже в самом дальнем ряду, казалось, что он видит подлинное, всамделишное слезы оскорбленного старика и каждый испытывал сострадание к нему. А как это важно, как дорого — **с о с т р а д а т ь**!

Но это только одна небольшая деталь, а сколько их было на протяжении всего спектакля!

Ну, где я еще мог видеть Михоэлса?

В нашумевшем в те годы фильме «Цирк» великий актер и режиссер сыграл совсем малосенький эпизод, без которого эта лента потеряла бы очень многое: Михоэлс по-еврейски поет колыбельную маленькому негру.

И опять, как когда-то в театре, с экрана на зрителя изливался благодатный поток доброты, мудрости и любви.

Во времена антисемитской «борьбы с космополитами» этот небольшой эпизод варварски изъяли из фильма, и знаменитый «Цирк» обеднел, утратив после этой, казалось бы, небольшой купюры очень и очень много. Резали по-живому, фильм стал походить на человека, у которого ампутировали ногу или руку.

Сейчас, репрессированный эпизод вновь возвращен на свое место, но забывать то страшное время не следует, во избежание повторения.

В годы Великой Отечественной войны Михоэлс сделал невероятно много для нашей победы над фашизмом. Его оружием были всего лишь слово, мысль, репутация большого Художника и кристально чистого Человека, но вскоре, в ответ на них, из-за океана в нашу страну хлынул поток самого настоящего, сталинского оружия.

И вот я иду к нему, не сомневаясь, что теперь он поможет и мне лично.

К этому, прямо скажем, наивному шагу меня подтолкнули лекции нашего художественного руководителя, Народного артиста СССР Юрия Александровича Завадского, который много и влюбленно рассказывал нам о Михоэлсе, своем старом и близком друге.

Каким же мне надо было быть молодым и, мягко скажем, не очень умным, чтобы решиться беспокоить этого удивительного человека по такой пустяковой причине. Но именно таким я, видимо, и был тогда.

До этого дня мне еще постигались присутствовать на двух встречах с Михоэлсом в ЦДРИ — Центральном Доме работников искусств, где Мастер беседовал с театральной молодежью.

Правильнее все-таки сказать не «беседовал», а «разговаривал» или, еще точнее, «делился», щедро делился тем, чем сам был наделен с избытком — талантом, опытом, добротой.

Уже после, спустя годы, понимаешь, что тогда нам выпало счастье получить от Михоэлса драгоценные нравственные уроки.

На всю жизнь мне запомнились две его истории-притчи. Вот они: Одному человеку, при рождении, Бог подарил волшебное стеклышко. Глядя через него, человек обретал удивительные способности. Он видел мир во всем его многоцветье и мог стать великим живописцем. Он мог стать великим композитором, потому что волшебное стеклышко позволяло ему слышать музыку, которую рождала жизнь. Он мог стать великим поэтом, стеклышко преображало все, что окружало этого человека, на поэтический лад. Бог дал человеку право выбрать себе профессию по душе.

Человек стал известным художником, живописцем. Люди охотно покупали его картины, а он их писал и писал. И неплохо зарабатывал. Через его руки проходило много серебряных денег, он увлекся обогащением и постепенно стал писать свои картины только ради заработка. Положив монеты в сундучок, он снова брался за свое волшебное стеклышко. Потом — опять серебряные деньги, опять — стеклышко, опять — серебро и он даже не заметил, как его стеклышко стало мутнеть. Оно покрывалось серебряным налетом и постепенно стало... зеркалом. Художнику казалось, что он по-прежнему прекрасно видит мир, а видел он только одного себя.

Мы были молоды и уверены, будто у каждого в кармане уже давно лежит по такому волшебному стеклышку.

ку, но Соломон Михайлович думал, видимо, несколько иначе.

— Будем надеяться, — сказал он, — что кому-то из вас Бог, в будущем, еще только даст его, но вот как с ним прожить, чтобы оно не стало вашим зеркалом?

На второй нашей встрече в ЦДРИ Михоэлс рассказывал нам еще одну полезную притчу.

Когда в чреве женщины начинается новая жизнь, будущий человек, вместе с материнскими соками, ее дыханием и кровью впитывает все, что окружает мать в нашем сложном, многоцветном и многообразном мире. Все знания человечества становятся его знаниями, языки всех народов — его языками. Вся поэзия, вся музыка, все ремесла — он вбирает в себя все, и поэтому, когда наступает ему срок появиться на свет, голова его непропорционально велика, так велика, что мать при родах испытывает нестерпимые, порою очень долгие муки, и Бог, в конце концов, решает помочь ей. Он награждает младенца щелчком. Отсюда — три следствия: во-первых, младенец появляется на свет, во-вторых, у него на всю жизнь остается ямочка под носом, как раз в том самом месте, куда своим щелчком угодил Бог и, наконец, в-третьих, из головы новорожденного разлетаются в разные стороны все те обширные знания, которые накопились к этому дню в его непомерно большой голове.

Здесь Соломон Михайлович сделал паузу в своей притче, молча оглядел всех нас, потрогал ямочку у себя под носом и закончил:

— Так вот, дорогие мои, вся последующая жизнь дается человеку для того, чтобы он собрал обратно эти разлетевшиеся знания. Место в голове найдется, было бы желание и усердие. Вы меня поняли? Попробуйте...

Я смотрел на Мастера, на его огромный лоб, на его слегка вдавленную губу под носом и представил, какие муки, должно быть, испытала его мать и как сильно пришлось постараться Богу, чтобы Михоэлс появился на свет. А он, видимо, прочтя эти мои мысли, сказал:

— Собирайте-собирайте. Я лично занимаюсь этим всю жизнь, но собрал пока только малую часть.

И вот я иду к нему, ужасно волнуясь, долго вытираю мокрые туфли о половник и, все-таки оставляя следы, вхожу в вестибюль.

— Мне бы — к Михоэлсу.

Уже предчувствую, сейчас начнут интересоваться, выяснять, кто я, откуда, по какому вопросу?

Но — ничего подобного:

— Пожалуйста. Второй этаж и — направо его кабинета.

И ни о чем не спросили. Наверное, так уж тут заведено.

Перед кабинетом — большая приемная. За столом — секретарь, пожилой мужчина. Разговаривает с молодым человеком. Видно, на идиш, языка я не знаю, но до меня доходят отдельные слова, напоминающие немецкие, которые я помню еще со школы.

Заметив меня, собеседники у стола замолчали и почему-то стали смотреть мне на ноги. Я тоже посмотрел и к ужасу своему увидел на полу вокруг своих сапог маленькую лужицу, которую я принес сюда с улицы. Лужица расплзлась, делалась все больше.

Пожилый мужчина, не поднимая глаз, задал мне какой-то вопрос по-еврейски. Я не понял и он повторил вопрос по-русски:

— Что — дождь?

— Да...

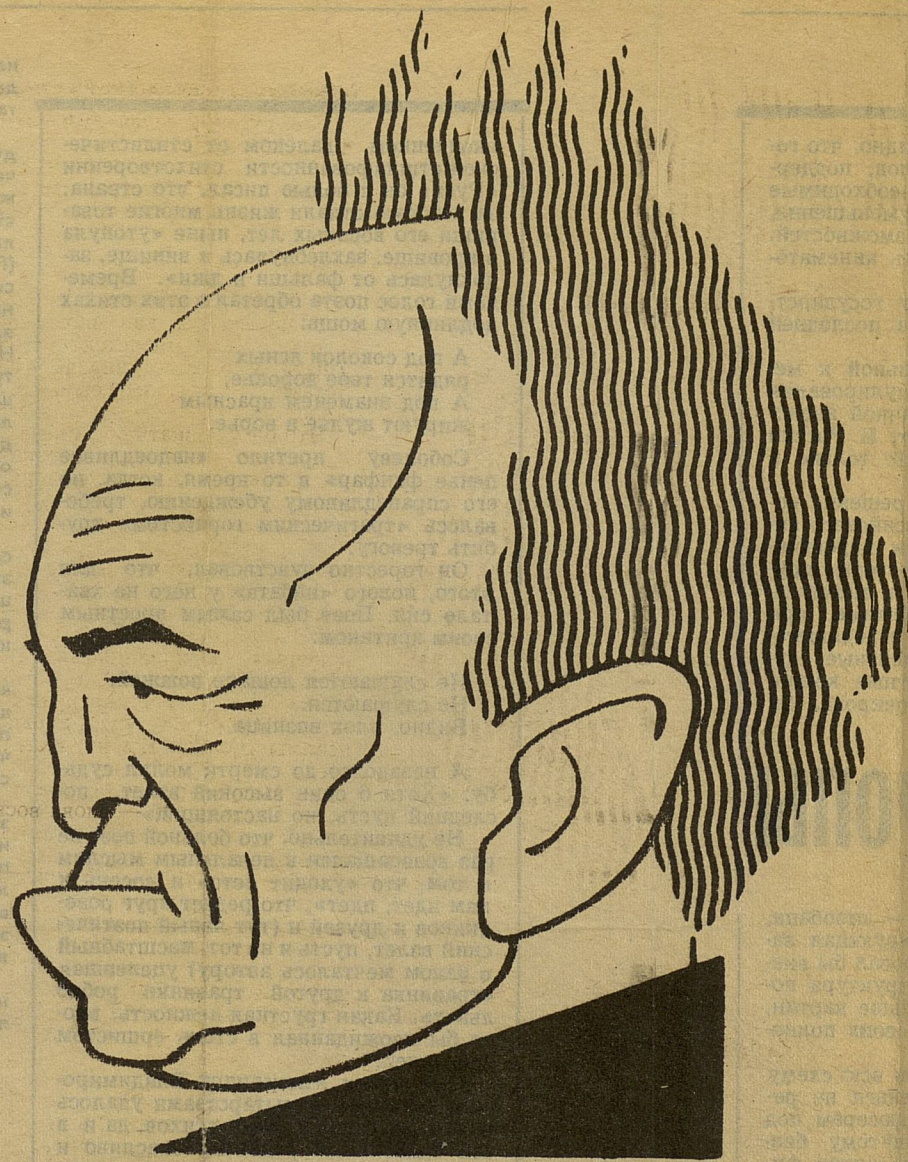
— Тебе куда и к кому? — К Соломону Михайловичу Михоэлсу.

— И по какому поводу?

— Я сам ему все рассказываю. Секретарь нисколько не удивился — наверное, к Михоэлсу ходило много народа и каждый хотел что-то рассказать ему и обязательно лично.

— Тогда посиди там, подожди. — секретарь указал мне на кресло в стороне. — А шинель повесь на вешалку.

В комнате было тепло и сухо, в глубоком кресле — удобно и уютно. Я пригнулся, да еще убаюкивал монотонный разговор на непонятном



ЧЕЛОВЕК

языке между секретарем и его собеседником, и меня потянуло в сон.

Сколько уж там я дремал, не знаю, но проснулся оттого, что кто-то тронул меня за плечо.

— Вы ко мне?

Со сна я даже не сразу вспомнил, где я, а добрый волшебник повторил свой вопрос:

— Вы ко мне?

Я не ошибся, назвав человека, который склонился надо мной, волшебником. Ни до, ни после мне не приходилось встречать таких лиц и я не ошибусь, когда при описании его много раз употреблю слово «очень».

На меня смотрели **ОЧЕНЬ** добрые и **ОЧЕНЬ** умные глаза под **ОЧЕНЬ** большим, мудрым лбом, лицо этого человека было **ПРЕКРАСНЫМ**, хотя и **ОЧЕНЬ** некрасивым. Ко мне обращался МИХОЭЛС.

— Вы ко мне?

— К вам, Соломон Михайлович, — и я попытался подняться из кресла, но он удержал меня. Рука у него оказалась достаточно сильной.

— Сидите, сидите! — и он продолжил, будто в чем-то провинился передо мной: — И не сердитесь на меня, вам придется еще немного подождать, у меня там очень серьезный разговор. Пожалуйста, еще минут десять, если, конечно, у вас есть время. Хорошо?

— Конечно! — горячо сказал я. — Какой может быть разговор!

— Ну, и прекрасно! — вполне искренне обрадовался Михоэлс, а я был счастлив — разговаривать с великим артистом и режиссером оказалось легко и просто.

В комнату вошла уборщица с ведром и щеткой

— Здравствуй, Соломон!

— Марья Ивановна, дорогая, здравствуйте! Принесли?

— И не подумаю. — Марья Ивановна, видать, была строгой женщиной. Тебе врач, что сказали, ну? А ты смолчишь одну за другой, как паровоз. Не принесли!

— Ну, тетя Маша, миленькая! — Михоэлс умолял: — Ну, в последний раз!

Очевидно, такие разговоры проис-

ходили между ними не первый год и, видимо, тетя Маша, привычно сжалившись, в конце концов, всякий раз сдавалась:

— Ну, каких тебе, обратно — «Беломор», что ли?

Тетя Маша ушла за папиросами, Михоэлс — в кабинет, а секретарь сказал мне:

— У него там — один... Секретарь назвал имя знаменитого писателя. — Михоэлс проводит его, с тобой займется.

Я снова задремал и был разбужен, когда серьезный разговор уже закончился, и Михоэлс провожал своего гостя.

Соломон Михайлович подавал ему пальто и терпеливо ждал, пока знаменитый писатель не наденет калош. Проводив гостя до лестницы, вернулся ко мне.

— Теперь вы. Прощу вас.

В дверях я хотел пропустить его перед собой, но он дружески слегка подтолкнул меня в плечо.

— Прощу, прощу, вы — мой гость. В кабинет я шагнул первым.

Он немного задержался, чтобы попросить секретаря принести чаю. Войдя, я остался стоять у дверей, дожидаясь его.

— Что же вы не проходите? — удивился он и усадил меня в кресло у письменного стола, а сам занял кресло напротив. Понтересовался: — Противно на улице, холодно, сыро? Замерзли?

— Немного.

— Сейчас нам с вами принесут чай, — пообещал он, — и отогреетесь. Ну, давайте пока познакомимся. Меня вы, видимо, знаете, а как зовут вас?

Я представился.

— У вас хорошее имя — Яков. Древнее имя. Вы — еврей?

— Да.

— Так, может, мы будем говорить по-еврейски? Иврит или идиш?

— Я не знаю языка.

— Своего языка? — он сказал это так, словно сочувствовал мне, не осуждал и не упрекал, а именно сочувствовал. — Но вы не огорчайтесь, у вас еще есть время все исправить.

Его русский язык был кристально чист, без малейшего акцента — язык страны, в которой он родился и жил. Но мне было известно, что также чисты и другие языки, которыми он владел.

А он продолжал:

— Вы — счастливый человек! Вы молоды, вы еще так много не знаете, а значит, вам предстоит еще столько узнать, прочесть, увидеть, услышать. Кстати, я могу вам сообщить кое-что о вас. Хотите?

Что он мог знать обо мне?

— Вам известно, что означает ваша фамилия, как она расшифровывается?

Нет, мне это не было известно.

— Сегель — это очень древняя фамилия. Значения в ней имеют согласные буквы «эС, Ге и эЛ». С них начинаются три слова — «эС» — «саган» — руководитель, начальник над поющими священниками в храме, «Ге» — это артиль, а «эЛ» — «левим» — это поющие в храме священники. Они пели, ну, предположим, псалмы Давида. Вы их, конечно, знаете?

— Нет, — признался я!

— Счастливец! — снова воскликнул он. — Вам все это предстоит узнать! И вообще, человеку дано сделать столько счастливых открытий, если, разумеется, он сам этого хочет. Ну, а теперь рассказывайте для чего я вам понадобился. Кладите в чай побольше сахара, сахар — питание для мозга. Пейте и рассказывайте.

Михоэлс так заинтересованно слушал, что, закончив излагать свою проблему, мне захотелось рассказать ему и еще что-нибудь, но я вовремя сдержался. И правильно поступил, потому что значительно важнее было послушать его, ибо каждое слово этого мудрого человека имело огромный смысл.

В жизни много случайностей: случайных встреч, случайных обид, случайных радостей и огорчений, случайных слов, но я убежден — Михоэлс не сказал тогда ни одного случайного слова. Каждая секунда с ним имела для меня глубочайший смысл. Сорок минут по часам длился нравственный урок, преподанный мне в тот день Соломоном Михайловичем.

Сегодня мне кажется, что даже расшифрованная им моя фамилия, реализовалась в моей судьбе — я не актер, «поющий в храме искусств», но стал кинорежиссером. Хуже ли, лучше ли, но, снимая фильмы, то есть объединяя творческие усилия сценариста, актера, художника, оператора, композитора и многих других, я свожу их в единый хор, руковожу «поющими в храме искусства». Быть может, это и предписано мне судьбой, закодированной в моей фамилии, именно так расшифрованной когда-то Михоэлсом.

— Я вас понял, — сказал Мастер, когда я изложил ему свою проблему, замолк. — Вы хотите...

О! Он прекрасно понял мои честолюбивые желания. — Мне чрезвычайно хочется вам помочь, — сказал он в заключение. — Но мне трудно сказать что-либо, не имея всей пьесы.

Я смущился, не заставляя же его читать нашу ученическую инсценировку. Но он сказал:

— Давайте договоримся так: вы принесете сюда всю вашу затею целиком и оставите ее для меня у секретаря. Я возвращаюсь из командировки в Минск дня через три-четыре, прочту эту пьесу, попробую в ней разобраться, и мы с вами поработаем. Договорились?

Наш разговор состоялся числа 10—11 января 1948 года...

Он проводил меня до вешалки, снял с крючка мою мокрую шинель и подал ее мне, как час назад подавал знаменитому писателю. Я попробовал сопротивляться, но он все-таки поступил по-своему, сказав при этом:

— А когда я приду к вам в гости, вы сможете подать мне мое пальто. Приносите пьесу и — до встречи.

Но наша встреча не состоялась. Через два дня, 13 января 1948 года,

в Минске Соломон Михайлович МИХОЭЛС был убит.

Мы всей студией стояли в бесконечной очереди людей, пришедших попрощаться с этим прекрасным Человеком.

У его гроба в этот день плакал наш учитель Юрий Александрович Завадский. Прощались со своим другом Иван Семенович Козловский, Сергей Владимирович Образцов, Иракий Андроников...

Обычно на лице умерших появляется выражение умиротворения, высшего спокойствия и безучастия. На лице Соломона Михайловича, несмотря на усилия гримеров, было отчетливо выражено страдание.

Кому понадобилась его смерть?

Михоэлс был председателем Еврейского Антифашистского Комитета. Значит, его смерти могли хотеть фашисты. Но фашизм, к этому времени, был разгромлен, и к его уничтожению немало сил приложил лично Соломон Михайлович.

Выходит, не полностью его искоренили, он только временно затаялся где-то и теперь наносил подлые удары из-за угла.

Михоэлса могли ненавидеть фашисты, могли — антисемиты. Хотя, впрочем, это одно и то же.

По предложению Сталина, убийство было названо несчастным случаем.

Нет, оно не было несчастным случаем.

Следователю, которому было поручено это дело, почувствовав, что нити преступления тянутся слишком высоко, испугался и, уже начав расследование, сумел от него самоустраниться. Он рассказывал мне об этом много лет спустя.

Поздно вечером, по Минским улицам Михоэлс и его спутник, театровед Голубов-Потапов возвращались после заседания комитета по Сталинским премиям. Мимо них промчался грузовик, у которого сбоку, на точно рассчитанной высоте умышленно торчала металлическая труба или лом.

Убиты были оба.

Убийцам можно плевать, что второй — русский. Будет знать, с кем дружить.

Спустя годы мне рассказывала о Соломоне Михайловиче замечательная наша артистка Фаина Георгиевна Раневская.

Она очень была дружна с Михоэлсом, и однажды, когда они вечером, после спектакля гуляли по Никитскому бульвару, между ними произошел такой разговор.

— По-моему, — сказала Фаина Георгиевна, — есть люди, в которых живет Бог, а есть такие, в которых поселились черви.

— Очень может быть, — усмехнулся Соломон Михайлович — Очень может быть...

— По-моему, — продолжала Раневская, — в вас, Соломон Михайлович, живет Бог, честное слово!

— Бог?! — Михоэлс сделал вид будто всеерьез задумался. — Бог... Вы знаете, в таком случае, Он в меня со-слан.

Потом была некоторая пауза. А потом вечерний бульвар огласился зарзательным хохотом — смеялись два больших Художника.

Уже прошло почти полвека, как нет Михоэлса, но мои встречи с ним продолжают.

В сорок девятом году я хоронил свою маму. Самый горький день в моей жизни.

Теперь, когда я приношу цветы к ее надгробному камню, несколько цветков я кладу к могиле Михоэлса, они случайно похоронены рядом, всего в десяти шагах друг от друга...

Яков СЕГЕЛЬ.

1993 г.

● Рисунок Иосифа Игнана.